

Февраль 1862

Дело о пенсии Монтобану. — Прения французского законодательного корпуса об адресе. — Министерство Раттацци. — Распущение прусской палаты депутатов. — Взятие форта Дониельсона.

Зловещие птицы начинают каркать похоронную песню над существующим порядком Западной Европы. Каркали они давно — такая уж их натура; но карканье карканью рознь. Ворона кричит беспрестанно; но когда она кричит так себе, по одному влеченью природы, унылое ее карканье глухо, и в нем слышится только ее бессильная злоба. Тотчас можно отличить от этих заунывных звуков тот веселый, звонкий крик, с которым поднимается она лететь на добычу, прослышав запах трупа. Так и зловещие птицы Западной Европы долго кричали заунывным глухим тоном, выражавшим только их собственную досаду на спокойный порядок их стран и на их бессилье поклевать его. Теперь не то. Самоуверенное предчувствие приближающегося разгрома для них дает какую-то адскую веселость крику их.

Мы не скажем, что ошибаются зловещие птицы. Обоняние у них тонкое; очень может быть, что и в самом деле скоро начнется пир для них, но мы скажем, что ошибаются они, если думают, что прочен или хотя долог будет готовящийся им праздник. В народах Европы, как и во всяких других народах, есть недовольство существующим порядком, и от времени до времени стекаются обстоятельства, доводящие недовольство до взрыва. Но ведь взрыв произведен только стечением обстоятельств, только неопределенным недовольством, и, разрушив прежнее, толпа не знает, как ей быть с постройкой нового: своего плана нет у ней, а жить без крова и приюта нельзя: надобно строить, поскорее строить. И начинается торопливое воссоздание: обломки старого под руками, — это и прекрасно, по ее мнению: обтесывать новый материал некогда, да он, может быть, и не запасен: со старым материалом работа пойдет скорее; а план? — что ж, когда нет нового плана, разве нельзя воспользоваться воспомин-

нениями о прежнем здании? Разве все в нем было уже безусловно дурно? Если оно было неудобно, так не от того ли только, что обещало? Может быть, самый план его и был хорош, за исключением некоторых мелких подробностей.

Вот и восстанавливается торопливо почти все по старому плану из обломков прежнего. «В чем же прогресс? — воскликнут лица, называющие вас утопистом за то, что вы не отказываетесь от предвидения счастливой жизни для человечества в будущем, и тут же, не переводя духа, называющие вас скептиком или нигилистом за то, что вы не верите в безмятежное осуществление их маленьких иллюзий на завтрашний же день. — Где же в таком случае прогресс и к чему же стремиться, если послезавтра восстанавливается то, что падает завтра? Если так, зачем же работать? лучше сложим руки. Ваши слова ведут к отчаянию, а отчаяние повергает в апатию». Нет, унывать незачем, и прогресс вовсе не отвергается разрушением иллюзий. Будут строить из старого материала; но ведь часть его рассыпалась в порошок и унесена ветром; стало быть, старого материала недостатка, поневоле прибавится новый. Да и старый план нельзя же запомнить совершенно точно, — кое-что забылось; значит, кое-что надобно устроить и не по старым воспоминаниям, а по нынешним соображениям. Вот, значит, все-таки и оказывается прогресс.

Все эти размышления о прогрессе и нигилистах вызваны у нас карканьем зловещих птиц, чующих поживу себе в Западной Европе, а карканье их оживлено ходом дел во Франции. Ведь что там ни говорите, а Франция все-таки остается, по прекрасному выражению консерваторов, вулканом, взрывы которого потрясают Европу. Она как будто и приутихла; от этого даже потеряла репутацию в глазах лиц, вышеупомянутых нами. Но тонкие люди, дипломаты и хорошие консерваторы, никогда не обманывались видимым ее усмирением. Ведь уже три раза, со времен наших прадедов, прикидывался этот Везувий угасшим и остепенившимся: тихо было внутри Франции при Наполеоне I, много лет прикидывалась она усмирившейся при Бурбонах, потом опять много лет при Луи-Филиппе, и каждый раз, если можно динамически выразиться, надувала почтеннейшую Европу. Вот и теперь чуткое ухо злонамеренных людей слышит в подземных слоях Франции глухой гул — предвестник приближающегося извержения. Несколько лет тому назад начали носиться неопределенные слухи о каком-то зверском тайном обществе, называемом «Марианной». С той поры все идут слухи, будто оно растет и растет. Успевали иногда как будто поймать какую-нибудь отрасль его, — пойманных наказывали; но, к прискорбию, видели, что они вовсе не главные люди; а где и в ком найти главных людей этой вредной закваски, никто не знал. Вот и теперь, в феврале 1862 года, арестовали в Париже несколько человек, — в числе их Греппо, бывшего единственным из 1 200 членов конститутив-

ного собрания 1848 года, подавшим голос за предложение Прудона об уменьшении цифр платежа во всех существующих контрактах. Посмотрели, посмотрели на этого Греппо, повертели, повертели его на разные стороны, — не оказывается в нем никаких следов злоумышления; и отпустили его опять заниматься своим коммерческим делом, а руководителей «Марианны» все-таки не нашли, не добились и того, чтобы хотя узнать, точно ли от «Марианны» надобно ждать опасностей, или с других сторон, а «Марианна» только фантом.

Этого не разберут люди, специально занявшиеся разузнаванием о «Марианне»; а со стороны очень видно, что собственно она — неважный фантом, и дело не в ней, а в отношениях, всем известных, в актах, печатаемых самим французским правительством.

Зачем, например, обнародован французским правительством доклад Фульда, о котором говорили мы месяца два тому назад? Разве не понимало французское правительство, что этим актом отнимает оно у себя возможность отрицать расстроенное положение финансов? Конечно, понимало; но продолжать запирательство не было уже ни пользы, ни возможности. Возможности не было потому, что иссякли все средства прикрыть дефицит обыкновенными секретными оборотами; приходилось возвышать налоги и заключать новый заем; значит, явился бы факт, понятный всем и без признания в нем. Пользы не было продолжать запирательство потому, что уже никто давно ему не верил. Значит, лучше было уже признаться прямо и формально: Так; но из этого возникает новый аргумент для противников: «вы, дескать, сами признались, что довели финансы до расстройтва; значит, ваша система не годится».

И вот из таких-то, можно сказать, пустяков, посмотрите, какой поднимается гвалт. Законодательный корпус обескуражен: «Нет, — думает он, — тут надобно действовать иначе. Явимся мы сами защитниками истинных принципов. Начнем делать оппозицию; приобретем этим популярность...»

Вообразите себе толпу лиц, вздумавших, что им нужно либеральничать, делать оппозицию, выступать приверженцами демократических принципов, но не имеющих понятия обо всем этом и либерализм свой ставящих в привязках к каким-нибудь мелочам. С тем вместе у них мысль, что ведь они «вольнодумничают», а вольнодумство вообще вредно, для них же неприлично.

Предмет для оппозиции выбрали они самый мелкий, как известно читателю: награду генералу Монтобану¹. Генерал этот не отличается особыми дарованиями, но он приобрел себе порядочное состояние в китайской экспедиции, которой начальствовал. Это факт; есть сплетня, говорящая о другой его способности: он сосватал девушку очень красивой наружности, доставившую очень доходное место, — должность сенского префекта, то есть долж-

ность парижского обер-полицмейстера и губернатора, своему отцу. Монтобан рассчитал, что девица Гаусман будет и для мужа не менее полезна, чем для отца. Впрочем, это — парижская сплетня, не имеющая, разумеется, никакого отношения к следующей истории. Говорят, будто генерал Монтобан, нашедши в Китае два миллиона франков, получает с них тысяч сто или больше франков дохода. Жалованье его по разным должностям простирается также до ста тысяч франков; но за жалованье можно ручаться только при нынешней системе: случись перемена в правительстве, Монтобану дадут отставку и жалованье пропадет; а капитал в два миллиона франков — имущество благоприобретенное; родового имущества генерал Монтобан не имеет.

По такому соображению был представлен в законодательный корпус проект закона о назначении графу Паликао (Монтобану) с потомством наследственной и вечной пенсии в 50 тысяч франков. Вот на этот проект и обрушился либерализм законодательного корпуса. «Как потомственная пенсия? — заговорили члены законодательного корпуса. — Но ведь это будет майорат, а майораты запрещены во Франции. Ведь это будет возвращение к дореволюционному порядку, нарушение законов, ниспровержение демократических принципов» и т. д., и т. д. Монтобан, услышав про оппозицию его пенсии, написал к императору, что он отказывается от предполагаемой награды и т. д. Немедленно явилось в газетах ответное письмо императора, говорившее, что император не возьмет назад проект закона о пенсии; что законодательный корпус не умеет ценить заслуг, оказанных Франции, но Франция рассудит между императором и законодательным корпусом и проч. Что же законодательный корпус? Законодательный корпус упорствовал; комиссия, рассматривавшая проект о пенсии, представила доклад в том смысле, что, несмотря на письмо императора к Монтобану, пенсию надобно отвергнуть. Но император не допустил своих верных приверженцев довести скандал до конца. За несколько дней до срока, назначенного для прений о докладе комиссии, президент законодательного корпуса граф Морни публично вынул из кармана в начале заседания и прочел письмо императора к нему, графу Морни, говорившее, что император не хочет огорчать законодательный корпус, не желает ставить его членов в необходимость тяжелого для них выбора между угождением ему, императору, и верностью их демократическим убеждениям и потому берет назад проект закона о пенсии графу Паликао.

Мы не приверженцы того мрачного взгляда, который старается все объяснить хитрым расчетом, каждую развязку считает предусматривавшеюся заранее. Дело происходило гораздо проще. Император французов много раз прибегал к средству, употребленному им теперь для уничтожения попыток оппозиции в законодательном корпусе: когда какой-нибудь проект возбуждал оппози-

цию депутатов, депутатам говорилось, что такова личная воля императора и что Франция осудит их за то. В течение десяти лет это было сделано сто раз (хотя и без такой огласки, как теперь), и всегда удавалось. Теперь не удалось. Вот и все. Но отчего же не удалось? Обстоятельства не те. Что не те они, мог видеть император французов уж из представлявшейся ему надобности дать делу огласку, какой не нужно было прежде. Бывало, достаточны были конфиденциальные внушения депутатам через графа Морни. Внушения были сделаны и не подействовали. Оставалось прибегнуть к мере более сильной — к печатному письму. Но как же было не рассчитать, что если огласка дает больше важности обороту, то она же и отнимает у него всякий шанс успеха? Ведь тут повинование депутатов было бы понято всей публикой как следствие страха. Публичность отрезывала им путь отступления, и они превратились в леонидовых спартанцев²: «умрем, дескать, но не отступим», то есть в переводе: «подвергнемся случайностям новых выборов, возможности потерять места и жалованье, но не можем же мы формально выставить себя перед всей Францией людьми, не имеющими никакой самостоятельности». Помните «Утро делового человека», как там у Гоголя рассуждает Иван Петрович с Александром Ивановичем:

«Алекс. Иван. Так вам чины, можно сказать, потом и кровью достались.

Ив. Петр. (вздыхая). Именно, потом и кровью. Что ж будете делать, ведь у меня такой характер. Чем бы я теперь не был, если бы сам доискивался? У меня бы места на груди не осталось для орденов. Но что прикажете! не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, попросить чего непосредственно для себя... Нет, это не мое дело! Другие выигрывают беспрестанно... А у меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости никогда!»

Но это все посторонний анекдот из наших нравов, а настоящее дело шло во Франции таким манером. Правительство было очень удивлено, что депутаты упорствуют, хотя само укрепило их в упорстве слишком крутой мерой внушения, не рассчитанной по обстоятельствам. Оно решилось распустить законодательный корпус и предписать новые выборы. Но префекты и другие полицейские начальники, обязанные разузнавать о настроении умов, донесли из всех концов Франции одно и то же: при нынешнем, дескать, затруднительном положении обстоятельств и неблагоприятном настроении общественного мнения выборы были бы неблагоприятны правительству. И так оказалось, что не следует распускать нынешнего законодательного корпуса, и пришлось правительству уступить.

Хотите ли видеть другое доказательство? Оно дано прениями об адресе. Размышления о них мы представим после. Сначала попросим вас прочесть голый и сухой отчет об этих прениях, составленный самим графом Морни и напечатанный в «Монитёре».

Едва ли нужно напоминать, что в конце 1860 года уже почувствовалась во Франции надобность сделать что-нибудь в пользу расширения прав законодательной власти и что это было сделано декретом 24 ноября того года. Он между прочим возвратил депутатам право, которым они пользовались при прежнем конституционном порядке: представлять правительству свои замечания относительно общей политики и требования о том, в каком смысле надобно изменить или общий дух ее, или ту или другую отрасль. Средством к этому был при конституционном порядке адрес, служивший ответом на тронную речь. Итак, законодательному корпусу с прошлой зимы дано право представлять императору адреса.

Далее, читатель знает, что в нынешнем законодательном корпусе находятся пять членов, не разделяющих приверженности всего остального собрания к нынешней системе. Когда проект адреса был написан избранною для того комиссией, эти пять членов предложили сделать в нем изменения, — конечно, не в надежде, что их мнение будет принято законодательным корпусом, а только для того, чтобы формально заявить свой взгляд и развить его в прениях, которые будут прочтены всей Францией. Из изменений, предложенных пятью оппозиционными членами, самое важное относится к первому параграфу проекта, излагающему одобрение общей политики правительства законодательным корпусом. Теперь приводим самые прения в точном переводе из официального отчета о них:

«Изменение в первой статье проекта адреса законодательного корпуса, предложенное пятью оппозиционными членами, и прения о нем.

Изменение, предложенное гг. Жюлем Фавром, Эноном, Даримоном, Пикаром и Эмилем Олливье:

«Общественное доверие может возродиться только искренним возвращением к системе свободы;

Журналистика должна перестать быть монополией;

Выборы, делаемые избирателями, а не префектами, с правом собраний и с равными шансами публичности и охранения избирательной свободы каждого;

Муниципальная власть, назначаемая общиной, а не правительством.

Личная свобода, ограждаемая совокупностью мер, первой из которой должно быть отменение закона всеобщей безопасности.

Таковы главные условия политики, опирающейся на принципы 1789 года.

Такова реформа, повелительно требуемая нравственными интересами страны, ее достоинством, развитием ее деятельности и ее богатства и не могущая быть отсрочиваема без того, чтобы Франция не стала в положение, униженное перед другими нациями».

«Заседание 7 марта.

Речь Пикара³.

«Знаменитый министр финансов сказал некогда: «пусть будет у вас хорошая политика, и финансы будут у меня хороши». Когда разразились в «Монитёре» признания, заключавшиеся в докладе г. Шульда, что финансовое положение очень дурно, первую мыслью общества был вопрос: не связано ли

оно с политическим положением? Основательные наблюдатели понимали, что открытое теперь зло, финансовое расстройство, значительные дефициты, — все это ничтожно сравнительно с нравственным злом, которому уже давно подвергает страну наша бедственная политическая система (в палате ропот).

С этим чувством я требую права разъяснить отношения, породившие эту систему. Мы перечисляем их в изменении, прочитанном вам. Они связаны с отношением, которое господствует над всеми остальными. Я говорю о положении журналистики.

Она служит всяческим интересам, даже личным интересам.

Например, вы принимаете известный закон, — положим, о замене $4\frac{1}{2}\%$ облигаций государственного долга 3% -ми. Правительство, связывая журналистику, пользуется этим законом для личных выгод. Министры пишут префектам, префекты говорят всем официальным лицам: удерживайте от продажи $4\frac{1}{2}\%$ облигаций, чтобы не было возможности сделать с ними ничего, кроме как обменять их на 3% -е. У меня в руках находятся такие циркуляры.

Когда г. Мирес выпускал облигации римского займа и акции римских железных дорог, одна газета хотела рассмотреть достоинство этих бумаг. Ее официально попросили молчать. Спрашиваю: может ли что-нибудь быть ненормальнее таких фактов для правительства и для законов о журналистике? Когда истина противна чьей-нибудь выгоде, она подавляется (многие члены восклицают: «нет, нет, вы преувеличиваете»). Повторяю: положение дел очень бедственно и унизительно. Я не мог без глубокой печали слышать сказанные в сенате слова, против которых нечего было возразить: «в Австрии больше свободы печатному слову, чем во Франции» (в палате шум). Вот каково, повторяю вам, положение журналистики. В одной из провинциальных газет я прочел слова: «сановник имеет право получать жалованье и еженедельно по одной похвальной статье в газетах».

«Заседание 8 марта.

Речь Пикара

«Вчера я хотел прямо поставить важные вопросы, возбуждаемые нашим изменением. Я старался показать, как журналистика лишена свободы механизмом нынешнего законодательства и как эта система сделала журналистику настоящим монологом правительства самого с собою.

Президент. Приглашаю г. Пикара выразиться приличнее.

Пикар. Я полагаю, г. президент, что выражаюсь прилично.

Президент. Я не позволю вам в этой палате нападать на основные законы страны, говорить, что какой-нибудь существующий закон унизителен для страны. Вы можете подвергать критике политику и распоряжения правительства, но не можете говорить о существующем законе, что он унизителен для Франции. Здесь дело идет об уважении к существующему порядку, и я могу напомнить вам о приличии.

Пикар. Я не разделяю вашего мнения.

Президент. Продолжайте вашу речь.

Пикар. Возвращаюсь к вопросу, мною рассматриваемому: он состоит в том, какому суду должны подлежать дела журналистики. Я говорю: суду присяжных. Почему же суд присяжных натурален в делах печатного слова? Во-первых, потому что проступки по ним не могут быть определены точным образом и рассуждать о них не могут другие судьи, обязанные только прилагать точные законы к точно определенным случаям.

Другая причина та, что правительственные судьи сами желают, чтобы их избавили от страшной обязанности судить дела журналистики; они бывают смущены, когда судят такое дело; они сами сознают, что не компетентны в этих делах, в которых компетентен суд присяжных». (После этого Пикар говорит о свободе выборов и о независимости общинного управления, затем переходит к вопросу о личной свободе.)

Пикар. Что такое личная свобода? Обеспеченность лица в том, что

оно будет судиться по законам своей страны. Существуют ли эти гарантии? Правительство может арестовать и осудить на заключение от одного месяца до одного года всякое лицо, ведущее интриги, враждебные правительству, и имеющее преступные сношения внутри страны или за границей. По этому праву оно может у каждого гражданина потребовать ответа на вопрос: «не имеете ли вы преступных сношений с кем-нибудь?» Возможно ли подозреваемому доказать противное? (Ропот.) Господа, я не понимаю этого ропота на мои слова против закона. Доказать противное тут невозможно, потому что обвинение неопределенно. Президент законодательного корпуса через г. вице-президента Шнейдера сказал, что комиссия, составлявшая проект адреса, нашла наше изменение противоречащим общей политике правительства.

Шнейдер. Я говорил только о политике большинства палаты.

Пикар. Политика этого большинства — политика правительства, и я счень жалею о том и о другом. (Ропот.) Я вам объясню, почему жалею. Франция не хотела бы подвергаться новой революции. (Многочисленные голоса: «правда, правда, не хотим!») Не хотите, а делаете все, что нужно, чтобы привести революцию. (Продолжительный шум.) Правительство само опровергает себя. (Новый шум.)

Президент. Чем же?

Пикар. Тем, что начало делать в последнее время.

Президент. Объясните это.

Пикар. Объясню, если вы дадите мне объяснить.

Президент. Объясните; иначе было бы слишком легко отказываться от объяснений.

Пикар. Я отказываюсь от объяснений, потому что не имел бы в них свободы. (Шум.)

Президент. Однакоже, г. Пикар...

Пикар. Я так хорошо понимаю, что был бы тут связан, что не хочу и начинать речи об этом.

Президент. Это — прение, невозможное в нашей палате.

Пикар. Вы говорите правду.

Президент. Ваша партия имела власть и возбудила против себя неудовольствие, отнявшее у нее власть.

Эмиль Олливье. Вы также теряли власть: первая империя пала.

Барош (министр). Разве первая империя была низвергнута нацией?

Пикар. Я вам скажу...

Президент. Это — прение невозможное. В интересе общества я не могу допустить его продолжение. Замечу только, что когда вы сказали, что правительство само опровергает себя, вы были несправедливы; я мог бы прибавить, что вы поступаете с правительством невеликодушно, — если можно так выразиться. Вы невеликодушны к нему, потому что, чем больше оно обезоруживает себя, тем больше вы на него нападаете, вместо того чтобы с умеренностью пользоваться свободой, которую оно дает стране.

Пикар. Я не принимаю упрека, сделанного моей партией, моим принципам. Я чту бескорыстие и величие людей, имевших власть в эпоху, о которой упомянул г. президент. Но возвратимся к настоящему. Вы утверждаете, что вы — нация свободная, а г. Буркне, сенатор и бывший посланник, говорит сенату, что в Австрии больше свободы, чем во Франции. С печалью слышу я, господа, что Франция не только не свободна, но что ее называют недостойною свободой.

(Барош, президент государственного совета и министр без портфеля, отвечает на речь Пикара. После Бароша встает Жюль Фавр.)

Речь Жюля Фавра

Обстоятельства, в которых ведутся прения палаты, очень важны. Я скоро займусь рассмотрением границ власти палаты, а теперь скажу вещь, против

которой никто не может спорить: слова, произносимые здесь, слышит и судит вся Франция. Скоро она будет призвана посредством выборов дать свое одобрение или выразить порицание политике, которую постоянно поддерживала эта палата. Потому бесполезно будет рассмотреть вопросы, возбуждаемые внутренним положением Франции.

Сейчас г. президент государственного совета говорил вам, что наши исправления должны считаться программю, выставяемою против официальной редакции адреса. (*Сильный шум.*)

Президент. Что называете вы официальной редакцией адреса?

Эмиль Олливе. Г. президент, не мешайте же говорить! (*Шум.*)

Президент (к Эмилю Олливе). Вы не имеете права давать мне приказания. Я не допускаю вашего вмешательства. Я спрашиваю у г. Жюля Фавра, что он разумеет под словами: официальная редакция адреса?

Жюль Фавр. Разумею официальную редакцию комиссии. (*Шум.*)

Президент. Вероятно, вы находите это объяснение очень простым? Но я знаю, и вы сами знаете, что такое хотели вы сказать словами: официальная редакция адреса.

Жюль Фавр. Если я буду прерываю каждую минуту, я прекращаю речь. Вы, г. президент, — конечно, невольно, — отнимаете у меня свободу мнений. (*Шум.*) Я отказываюсь от слова. (*Садится.*)

Президент. Я никогда не отнимал у вас слова, никогда не стеснял свободы прения. Вы придаете делу оборот неискренний.

Жюль Фавр. Я не позволю вам, г. президент, приписывать мне неискренность.

Президент. Обращаюсь к суду палаты. Проницательность ее поняла смысл употребленных вами слов. Я имел право остановить вас, потому что вы употребили выражение, намекавшее, что адрес составлен не столько комиссией палаты, сколько правительством. (*Многоголосные голоса: «вы правы, вы правы!».*) Потому не прибегайте к отговоркам.

Жюль Фавр. Я и не прибегал к ним.

Президент. Позвольте мне сказать вам: выражение «официальная редакция адреса» употреблено оратором не столь искусным, как вы, употреблено непреднамеренно. Серьезнейшим образом прошу вас, г. Фавр, продолжать вашу речь.

Жюль Фавр. Наше положение в этой палате, господа, исполнено затруднений. Поверьте, что не в удовольствии себе мы остаемся в нем и что только чувство обязанности удерживает нас в нем. Возвращаюсь к замечаниям, которые были начаты мною.

В последние десять лет произошли важные факты. Особенно важны два. Первый из них — декрет 24 ноября 1860 года (возвративший законодательному корпусу право, чтобы его прения печатались). Как назвать этот декрет? Удержусь от определений.

24 ноября 1861 года произошел другой факт, также имеющий свое значение. Говорю о письме, которым император призывал г. Фульда в министры финансов, и о докладе, напечатанном г. Фульдом. Всем известно, какие дефициты были засвидетельствованы этим докладом».

С холодной исторической точки зрения, от которой мы никогда ни на шаг не отступали, самая важная часть переведенных нами страниц отчета заключается не в содержании речей Пикара и Жюля Фавра; замечателен способ обращения графа Морни, представителя правительства и палаты, с оппозиционными депутатами. Не понравится ему какое-нибудь колкое выражение, он останавливает оратора; прежде так и кончалось дело: оратор чувствовал себя принужденным смириться и поправлял свою

фразу; теперь не то: поднимается длинный спор, и оппозиционные депутаты наступают, теснят президента, он и вся палата чувствуют себя неловко, и победа остается за оппозиционным оратором: он торжественно повторяет колкую фразу и продолжает в том же тоне; а между тем в палате только пятеро оппозиционных депутатов; голоса их не имеют никакого веса при вотировании; в самой палате оппозиция их формальным образом совершенно ничтожна. Так ее и третировали еще года полтора тому назад. А вот теперь не то: когда Жюль Фавр сказал: «не прерывайте меня или я замолчу», президент стал успокаивать его; Жюль Фавр повторил: «я прекращаю речь» и сел, — президент стал просить, «серьезно просить» его продолжать говорить, и Жюль Фавр, возобновляя речь, становился в такое положение, что я, дескать, говорю здесь в палате только из снисходительности.

Справка о расположении умов, наведенная правительством по поводу упрямства палаты в деле о пенсии Монтобана, обнаружила, каков будет ход фактов, если не будет он ускорен чрезвычайными случайностями. Нынешний законодательный корпус заседает последний год. На следующую зиму должны будут собраться новые депутаты, выборы которых должны происходить в конце нынешнего и в начале следующего года. Префекты объявили, что выборы будут неблагоприятны нынешней системе. Итак, на следующую зиму произойдет формальное столкновение нынешней системы с общественным мнением в его представителях, депутатах, если не произойдет оно иным путем. Это не мы говорим, — это выходит из сведений, собранных самим правительством и до того убедительных, что оно само изменило по ним свои отношения к законодательному корпусу в споре о пенсии генералу Монтобану.

Спор этот по своему предмету совершенно ничтожен, неважны сами по себе и речи оппозиционных депутатов в прениях об адресе, но характеристичны эти случаи для определения конца, к которому идут дела.

Такой определенности нет в перемене рук, управляющих Италией. Трудно даже разобрать, выгоду или невыгоду для национального дела надобно видеть в этой перемене. По общему цвету своих убеждений Раттацци должен бы быть министром, более полезным для Италии, чем его предшественник. Рикасоли был человек, совершенно спутанный крайним консерватизмом, и при нем итальянское правительство не могло ни вступить в прямую связь с энергическими элементами итальянской нации, ни пользоваться ими как бы то ни было. Раттацци имеет взгляд, несколько более широкий, и понимает важность живых сил. Он был не в дурных отношениях с Гарибальди, всегда считал нужным поддерживать связи с популярными людьми. Говорят, он уже виделся с Гарибальди по своему вступлении в министерство и всту-

пил в переговоры с передовою партией. Это все так. Но слишком сомнительный оттенок на его способность к твердому действию набрасывается главным из тех отношений, от которых пал Рикасоли. Французское правительство было недовольно суровым высокомерием прежнего министра. Рикасоли не был охотник идти вперед, но относительно самостоятельности в приобретенном положении был неуступчив. Парижские полуофициальные газеты с конца прошлого года, когда Раттацци ездил в Париж, твердили, что он будет министром более полезным для Италии и более приятным для императора французов, чем Рикасоли, на которого они очень сердились. Известно также, что и прямою причиною удаления Рикасоли было неумение его ладить с тьюльрийским влиянием; все другие причины были только предложениями, не имевшими существенного значения. Из этого естественно возникает предположение, что французское правительство надеялось найти в Раттацци человека более послушного и рассчитывало, что легче может обойти его, чем Рикасоли. И действительно, Раттацци называют не имеющим ни твердого характера, ни даже той не чрезвычайной даровитости, какая есть у Рикасоли. Очень может быть, что он уже связан обещаниями, данными в Париже. Впрочем, при нынешнем состоянии австрийских дел ход событий в Италии зависит не столько от охоты правительства итальянского, сколько от приготовленности передовой партии к решительным действиям против австрийцев. Готова ли она к ним, то есть уладился ли план общего действия итальянцев, венгров и проч., — это мы посмотрим; но, кажется, ничего окончательного еще не решено. А впрочем, как знать. Ведь эти вещи держатся в секрете, гораздо менее прозрачном, чем дипломатические тайны.

Многие упрекают нас в отрицательном направлении за то, что мы опровергаем некоторые мнения, почти всеми повторяемые без критики. Но справедливо ли называть отрицателем того, кто опирается на факты и признает в полной силе их значение? Вот, например, в прошлый раз говорили мы, что неосновательны немецкие и вообще западноевропейские либералы, считающие Пруссию конституционным государством. Пожалуй, это могло показаться отрицанием. Но вот теперь, не больше как через месяц, явились факты, заставившие прусских, а за ними всех немецких, а за ними всех западноевропейских либералов признаться, что их мнение о Пруссии, как о государстве конституционном, было неосновательно. А ведь мы это самое и говорили.

Теперь посмотрим пока, как произошло разрушение ошибки либералов. Об этом пусть расскажет нам «Times»:

«Прусская палата депутатов распущена королем⁴. Это произвело большое волнение не в одной Пруссии, но по всей Германии. Повод к разрыву кажется маловажен. В Пруссии, как и во Франции, министры, особенно военный министр, переносили суммы, вотируемые палатой, с одного предмета на дру-

гой. Бюджет вотиrowался как одно целое, и министры считали себя вправе делать эти переносы сумм из одной статьи на другую. Пока не расходовалось в общем итоге больше вотиrowанной цифры, пруссаки не претендовали на то, что деньги, вотиrowанные для покупки штуцеров, обращались на покупку лошадей, или вместо пуль покупался порох. Так было прежде. Но в последнее время палата стала недовольна этим. Один из депутатов предложил, чтобы каждая сумма расходовалась только на тот предмет, на который вотиrowана. Министры объявили, что выйдут в отставку, если предложение будет принято, но оно было принято 175 голосами против 130. После того начались совещания между королем, наследным принцем и министрами. Результатом было распушение палаты, и теперь скоро должны быть новые выборы, на которых будет господствовать вопрос о конституционных правах палаты депутатов.

Трудно сказать, что король поступил расчетливо. Говорят, что наследный принц доказывал надобность уступить палате, объясняя, что Пруссия теперь конституционная монархия и потому представителей нации надобно принимать за действительную власть. Уступая желанию депутатов, король приобретал бы популярность, то есть упрочил бы за собою существенную власть. Он избрал другой путь. Результат не может быть сомнителен. Предсказания наследного принца и министров наверное осуществляются. Принц и министры говорили, «что новые выборы только возвратят в палату оппозиционных депутатов в увеличенном числе и с прибавкою людей более резкого образа мыслей». Король любезною уступкою обратил бы неудовольствие палаты в энтузиазм. Министры хотели выйти в отставку, уступая депутатам, и депутаты были бы тогда готовы делать очень многое для государя, министры которого уступили им. Но король прусский не принял их отставки. Он не заботится о расположении депутатов. Предводителей партий в палате он считает своими врагами, людьми, которым он никогда не должен давать торжества. А между тем какой путь величия открылся бы ему, если бы он держал себя иначе. Без особенного искусства он мог бы сделаться господином всей Германии. Потребность единства так велика в ней, что король прусский вошел бы на императорский престол, если бы только объявил, что на самом деле хочет быть конституционным государем».

Дело ясное даже для англичан, смотрящих на него издали. Министры хотели уступить палате; но король не захотел. Но «Times» совершенно напрасно делает из этого факта заключение, будто король поступил нерасчетливо. Нет, король совершенно прав и понимает свои интересы гораздо вернее своего теперешнего английского советника. Но эту несправедливость «Times'a» к прусскому королю мы замечаем мимоходом, а нам дело собственно только до прусских либералов, справедливость которых мы отрицаем. Не говорим уже о половинных либералах, партия которых в прусской палате называлась просто либеральной, — они двоедушничают в каждом слове. Посмотрим, что говорят истые либералы прусской палаты, которые, в отличие от полулибералов, назвавшихся просто либералами, назвали свою партию «прогрессивною». По распушении палаты эта партия обнародовала следующий документ, который украсила пышным именем «воззвания»: вот уже и фальшь в самом заглавии: не годится титуловать громким именем документец очень плохой. Но это опять мимоходом: важность не в заглавии, а в содержании. Вот оно:

«Воззвание центрального избирательного комитета немецкой прогрессивной партии.

Либеральные партии нашего отечества были почти единодушно согласны относительно целей политического стремления, выставленных нашей программой при прежних выборах. Они и теперь не отступают от них. Мы призывали тогда всех либеральных людей к соединению против реакционной партии, и прошлогодние выборы решили дело против нее. Непримируемо противореча живым силам нашего времени, она никогда не будет управлять Пруссией с согласия прусского народа. Она — ничто, если она не опирается на искусственную поддержку со стороны правительства. Но надежды на энергический прогресс, возникавшие из прошлогодних выборов, не осуществились. Люди, которым его величество король вверил правление, не могли стать в согласие с палатой депутатов, которая готова была поддерживать всякий либеральный шаг министерства. Обещания реформ, требуемых духом времени, остаются неисполненными.

При прошлогодних выборах мы могли еще надеяться, что министерство, соображаясь с развивающимся сознанием народа, примет более решительную политику. Теперь мы не можем надеяться этого. Тем необходимее представителям нации охранять ее права.

Правительство находит, что все должно решаться только его волею, без всякого внимания к представителям народа. Мы не хотели допустить этого. Министры распустили палату и апеллировали к народу, чтобы он выразил свое мнение новыми выборами. Мы надеемся, что оно выразится очень определенно».

В Северной Америке дела идут, повидимому, к развязке. Читатель знает об успехах, полученных Союзом, и нам довольно будет в нескольких словах напомнить связь событий, чтобы ясен был подробный рассказ о важнейшем из этих дел, приводимый нами из «New York Times'a» на следующих страницах.

Читатель помнит, каков был план северного правительства, рассказанный нами в прошлый раз. Линия театра войны по сухопутной границе между Союзом и отделившимися штатами тянется на 2 000 верст. Близко к восточному концу этой линии стоят главные силы обеих сторон под Вашингтоном. Северное правительство решило начать наступление с западной части пограничной линии. В ней значительные силы обеих сторон находились в Кентукки и Теннесси. Наступление началось. Авангард северной армии под командой Гранта⁵, имевшего до 30 тысяч человек, двинулся, очистив штат Кентукки, дальше на юго-запад по направлению к Нашвиллю, главному городу штата Теннесси, около которого сосредоточивалась западная армия инсургентов. Авангард ее, имевший до 25 тысяч человек, занимал очень крепкую позицию в огромном укрепленном лагере, который назван был фортом Доннельсоном. Вот описание этой позиции:

«Первое, чем поражены вы, вошедши в форт Доннельсон, — чрезвычайная сила его. Форт Генри считается почти что Гибралтаром, но он слаб в сравнении с фортом Доннельсоном. Река Кемберленд течет почти прямо на север. Вдруг она делает изгиб в несколько сот ярдов и потом опять течет в прежнем направлении. В этом изгибе на левом берегу реки поставлены у самой воды две батареи, имеющие 12 очень тяжелых орудий. Они господствуют над рекою и прикрыты брустверами громадной толстоты. За этими ба-

тараями берег поднимается довольно крутым холмом до высоты около 100 футов над водою. Вершина этого холма — форт Доннельсон, окопы которого обнимают пространство около 100 акров (35 десятин). Местность перед фортом холмистая, покрытая лесом. На несколько сот ярдов кругом форта он вырублен, чтобы свободно было действовать артиллерии. Вокруг всего форта, на милю расстояния от него, идет траншея для стрелков, от реки до реки. На запад от форта сделана страшная засека, затрудняющая почти до невозможности подступ с этой стороны».

Авангард северной армии шел к этому пункту по течению рек. Вот рассказ американской газеты «New York Times'a» об этом походе и о взятии форта Доннельсона:

«Генерал Грант решил сделать атаку по двум направлениям, — с земли — от форта Генри, а водою — с реки Кёмберленда; атакующим с нее канонерским лодкам должна была содействовать колонна, двигающаяся по берегу. По окончании приготовлений водяная экспедиция (спустившись по Миссисипи до реки Огайо и потом поднявшись по Огайо) достигла устьев Кёмберленда ночью 12 февраля. Сцена была неописанно великолепна: ночь была тепла, как августовский вечер на нашем севере, на небе не было ни облачка, полный месяц, сияя, отражался на бесчисленных штыках. По временам клубы дыма являлись на парпетах двух фортов, стоящих на высотах над городом, и раскаты выстрелов переливались эхом по холмам и возвращались шопотом от отдаленных кентуккийских гор. Оркестры лодок в ответ очаровывали ухо красноречивейшей музыкой, которая вместе с видом нарядных дам, десятками прогуливавшихся по палубе, давала сцене характер как будто какого-то огромного бала; до того доходило сходство, что никто не удивился бы, если бы вся толпа вдруг понеслась вихрем в вальс или плавными движениями кадрили. Уже после полночи экспедиция снова пустилась в путь и пошла медленно вверх по реке. На следующее утро, 13 февраля, она дошла до Эддивилля, маленького города на восточном берегу реки. Если заключать по демонстрациям людей, сошедших на берег смотреть на нас, — нет под солнцем города, более преданного Союзу, чем Эддивилль. Женщины махали платками всех цветов, фартуками, шляпками; мужчины — шляпами и кричали: «ура Союзу» и «ура Линкольну» — до совершенного онемения от хрипоты. Даже эддивилльские собаки были верны Союзу: лаяли и виляли хвостами в патриотической радости при национальном нашествии. Но только в одном человеке были признаки искренности. Старик с белоснежною головою стоял на берегу, опираясь на палку и с наружною апатиею следя за тем, как идут лодки, которых не мог он хорошенько рассмотреть своими меркнущими глазами. Случилось так, что на одной из лодок, в то самое время, как она поравнялась с ним, заиграли народную песню Новой Англии — Vankee Doodli. Звук ее как-будто пробудил давно спавшие воспоминания старика, — он сорвал с себя шляпу и с быстрым движением, от которого рассыпался в воздухе его седые волосы, три раза прокричал: «ура Союзу!» — Союзу, в котором родился, которым были охраняемы и он, и его дети, и внуки. Экспедиция высадилась ниже форта и тут соединилась с 20-тысячной колонною, которую вел генерал Грант из форта Генри. Он расположил свои силы полукругом около форта Доннельсона; оба фланга его упирались в реку. Занятие позиции было сделано не без больших затруднений. Пикеты и застрельщики неприятеля казались бесчисленны, и каждую ложбину, каждый холм приходилось отнимать у них с боя. Но большого урона мы не потерпели и к ночи совершенно втеснили инсургентов в их укрепленные линии, а сами прихотились начать более серьезную схватку на другой день. В 10 часов утра отряд союзных войск, состоявший из 5-ти полков пехоты и 4-х батальонов артиллерии (то есть около 5-ти тысяч человек), двинулся к скалистым

холмам, которые занимал неприятель. За 1000 ярдов (за версту) от хребта наш отряд был встречен неприятелем в больших силах и произошел упорный бой, главным образом между стрелками и артиллерией с обеих сторон. Неприятель постепенно отступал и через час скрылся в своих укреплениях; наши войска овладели грядю холмов, примыкающих к оврагу, за которым находилась внешняя линия неприятельских укреплений. Между ними и холмами не больше 300 ярдов (150 саж.); они покрыты лесом и несколько возвышаются над укреплениями; поэтому были они прекрасной позицией для наших стрелков, не замедливших воспользоваться ею. Они стреляли по инсургентам, выглядывавшим из-за парапета. В 11 часов мы сделали второе движение. Три полка (около 2500 человек); под командою полковника Моррисона, пошли скорым шагом в овраг, чтобы штурмовать внешние укрепления. Достигнув дна ложбины, Моррисон был сбит с лошади пулей. Видя, что командир упал и никто не занимает его места, солдаты поколебались и отступили на холмы в стройном порядке, но с большою потерей. После того ходил штурмовать еще один полк, но, встреченный втрое большею силою, должен был отступить после отчаянного боя, продолжавшегося час. Пока велись эти атаки, подошла одетая железом канонирская лодка «Карондлет» и вступила в бой с неприятельскими батареями; она пустила в них 102 выстрела и долго не страдала от страшного неприятельского огня, пока, наконец, 128-фунтовое ядро, ударив в один из люков и ранив 8 человек, засело в мешках с каменным углем, прикрывавших котлы. Это заставило лодку отойти. Ночью войска сильно страдали от холода. Днем, 14 числа, погода была прекрасная, и мы могли рассмотреть неприятельскую позицию. Местность около форта идет в гору, покрыта густым лесом и перерезана чистыми оврагами, скалистые стены которых почти отнимают возможность перехода. Самый форт стоит на высоком утесе, отлого спускающемся с другой стороны к реке; он вышиной, вероятно, не меньше 100 футов. Вершина его искусственно выровнена на протяжении миаи, и на этом выровненном месте стоит форт, укрепления которого занимают все это место. Перед скалою тянется неглубокий ров, а за ним гряда холмов, покрытых лесом; гряда перерезана ложбинами ручьев. В этот день подошла к фортам вся наша эскадра, состоявшая из четырех, одетых железом, и трех простых канонирских лодок; железные вышли вперед, простые остановились далеко позади их. Одетые железом лодки начали бомбардировать форт с расстояния миаи (около 1½ версты). Сначала грохот выстрелов не прерывался ни на минуту, — так они были часты, и шел непрерывный стук от падающих снарядов. Через полчаса огонь форта начал слабеть, и через несколько времени остались стреляющими в нем только три пушки, — остальные, как видно, были сбиты нашими выстрелами. Наши лодки, постепенно подвигаясь ближе к форту, были от него только уже на 400 ярдов (175 саж.) и готовились стрелять картечью, когда неприятельское ядро разбило рулевой снаряд на одной из лодок. Лодкой нельзя стало править, и она должна была удалиться; за нею отступили на прежнюю позицию и другие лодки, сильно поврежденные. Ночью повреждения были исправлены. 15-го числа, перед рассветом, неприятель сделал вылазку в числе 3000 человек, с 12-ю батареями артиллерии; он горячо бросился на два наши полка, стоявшие на крайнем правом фланге. Этот отряд твердо держался, потом стал отступать; на выручку ему пришли два другие полка и задержали неприятеля. Скоро подошли еще свежие войска с обеих сторон, и бой принял страшные размеры. Одна из наших батарей стала на возвышении, и целых четыре часа ни на один миг не замолкали ее тяжелые пушки, 24-фунтового калибра. Все это время она подвергалась сильному огню неприятельской артиллерии, занявшей холмы, возвышавшиеся над ее позицией. Несколько и других наших батарей были в деле. То наши, то неприятельские войска то наступали, то отступали. Битва была продолжительна и отчаянна. То подвигалась она по холмам, то спускалась в овраги, — и все это было в

лесу. Люди становились за деревьями, обломками скал, и все сражение пехотных войск имело характер схватки застрельщиков. Один из наших полков, стоявший на крайнем правом фланге, был атакован роем неприятеля с такой живостью, что расстроился и бежал в беспорядке; с другой стороны мы были атакованы таким превосходным числом, что наша линия разорвалась, и сражение казалось близко к совершенному проигрышу для нас. В это разорванное место обратила свою картечь наша батарея, занимавшая холм, и выпустила все, до последнего, свои заряды, удерживая неприятеля. Напрасно командир ее ждал подкрепления. В тот самый миг, когда она истощила все свои заряды, около 10 часов утра, сильный отряд неприятеля приблизился к ней под прикрытием холмов и леса и открыл по ней штуцерный огонь с расстояния 200 ярдов (менее 100 саж.). Все пушки были подбиты, кроме одной; в нее запрягли 6 лошадей, но орудие было так тяжело, а грязь — так глубока, что, протащив пушку с полмили, увидели невозможность увести ее и должны были бросить. Все орудия батареи достались неприятелю. Но через несколько времени страшная атака наших войск оттеснила его с этого места, разрыв нашей линии был опять наполнен войсками, и потерянные пушки были возвращены. Бой длился до самого полудня и кончился тем, что неприятель был оттеснен обратно в его окопы. Поле битвы было миль две в длину (более 3 верст), и каждый клочок земли был тут ареной ожесточенной схватки. Инсургенты сражались с самой непоколебимой храбростью и, повидимому, хотели во что бы то ни стало пробиться чрез правое наше крыло. Они лились на наши позиции, как наводнение, и нужна была храбрость, равная с ними, нашим солдатам, чтобы устоять против их бурного прилива и, наконец, оттеснить его в прежние границы. Наши войска сражались героически. Не прерываясь ни на минуту, сыпался на нас град ядер, бомб и картечи, а тысячи неприятельских стрелков пускали пули из-за каждого дерева, куста и камня. Грохот битвы походил на рев бури, несущейся через ваийный ею лес. Победа досталась нам дорого. Некоторые полки были совершенно истреблены. Пропорция убитых офицеров ужасна. Раненых у нас очень много, но раны большею частью легкие. Едва покончилось дело на правом фланге, как начал атаку наш левый фланг, под командой генерала Смита. Перед ним был внешний ряд неприятельских укреплений, мы решились штурмовать его. В третьем часу дня двинулась густая цепь застрельщиков, через час один из наших полков бросился в атаку на неприятельский бруствер, штурмовал его в штыки с разбегу и с потрясающим криком утвердился на нем. Он был поддержан другими полками. Инсургенты были сбиты с первой линии своих укреплений и загнаны за вторую. Скоро были заставлены замолчать их батареи. Тем кончился кровопролитнейший день этой осады. В нынешнюю войну не было еще битвы более упорной, и никогда еще не было у наших войск такой уверенности в успехе. Никто не сомневался в нем под самым жестоким огнем.

На следующее утро, 16 числа, инсургенты прислали сказать, что они сдаются. Генерал Бекнер, командир их, просил перемирия до полудня, говоря, что к тому времени могут уладиться условия сдачи форта. Генерал Грант требовал безусловной сдачи; инсургенты согласились».

Число взятых тут в плен инсургентов простиралось, как знает читатель, до 15 000 человек. Но еще сильнее нравственный урон, испытанный инсургентами. Потеряв свой авангард, западная их армия, стоявшая у Нашвилля, без боя отступила на юг, и северные войска заняли столицу штата Теннесси.